

Инна Лесовая

## ЧЁРНАЯ МАШИНКА

Было мне тогда лет пять, наверное, а, может, и меньше. Потому что до буфетной полки я доставала еле-еле. И вот стала я на носочки, поползла, поползла ладошкой по крашеной фанере – и захватила кончиками пальцев его, кусок мыла.

Тетя Аня накануне принесла маме два куска. Тетя Аня умела доставать разные вещи, которых обычно не бывало в магазинах. Конфеты, например – особые, вкусные, но вместе с тем дешёвые. Кофты, сумки. Такие же кофты, такие же сумки она добывала и для тёти Фиры, и для тёти Муси, и для тёти Гени. Так что, когда мы собирались на очередном дне рождения, все женщины выглядели, как родные сёстры.

Так вот, в то время в продаже не было мыла – обыкновенного, хозяйственного. Не стало почему-то. Все как-то выкручивались, что-то советовали друг другу. Про хлорку, про перекись водорода. Мама химии боялась, обходилась земляничным мылом или детским. Туалетное мыло смыливалось очень быстро и ничего не отстирывало.

До того, как хозяйственное мыло исчезло из магазинов, я на него не обращала внимания. Даже, можно сказать, не любила. И пахло оно плохо, и цвета было некрасивого – противный такой, грязно-коричневый цвет. Не то что туалетное. Новенькое туалетное мыло хотелось укусить. Я даже укусила однажды – ужасная гадость оказалась!

Да, так вот теперь на буфете лежали два больших бруска, и я на них всё время смотрела. Дело в том, что как раз накануне мне подарили чудесную вещь: жестяное игрушечное корыто со стиральной доской. Ну совершенно настоящее корыто и совершенно настоящая доска! Только маленькие.

В комнате играть с корытом не разрешали, и я уже несколько дней собиралась вынести его во двор. Летом у нас все женщины стирали во дворе. Выносили – кто корыто, кто миску. Со стиральной доской, конечно. Тёрли, полоскали, синили, крахмалили своё белье, будто соревновались друг с другом, кто из них лучше стирает. А дети ходили вокруг, смотрели, набирали в горсти пушистые, почти как снег, хлопья пены. Такие прекрасные, такие сверкающие! С ними хотелось что-то сделать. Но делать было нечего. Держишь, держишь на ладошках – а они, тихонько шипя, оседают, оседают... И, наконец, стекая на землю, превращаются во что-то такое грязненькое, противненькое, как плевок.

Как я им завидовала, мамам, которые целый день возились по локоть в этой пене! И вот, наконец, мне, мне самой предстояло такое же немислимое счастье.

Я порылась в письменном столе, но ничего подходящего для стирки там не обнаружила. Открыла шкаф, вытащила из стопки носовых платков один, самый симпатичный, и со всем своим хозяйством выбралась в коридор.

В коридоре нашем было пусто, только две кастрюли на плите негромко выясняли отношения. Огромная, синяя – наша. Приземистая, жёлтая – Фани Наумовны. Два знакомых запаха напирала друг на друга. Запах нашего борща был простой, крепкий, а соседский суп выдыхал что-то странное, проникновенное, с тайными привкусами. Двум таким запахам в нашем маленьком коридоре было очень тесно, и для того, чтобы они спокойно выходили себе на лестницу, в двери была оставлена широкая щель – с цепочкой от воров.

Мне тоже хотелось поскорей на волю. Туда, где так чудесно пахнет солнцем и зеленью только что созревшего лета.

Надо было спешить: мамин голос в соседкиной комнате становился всё громче, приближался к двери.

Протиснуться в щель под цепочкой было совсем не трудно, но не с жестяным корытом, не со стиральной доской, не с тяжёлым мыльным кубом, который не удавалось как следует ухватить рукой. Я даже уронила его там, в дверях. Мыло не испортилось, только один уголок прибилась чуть-чуть. И какие-то мусоринки пристали к чётким рельефным буквам.

Я остановилась на лестничной клетке. Босым ногам было зябко на мраморных плитах. Посмотрела направо, налево.

Справа были нарядные гранитные ступеньки. Один пролёт – и ты на улице. Сквозь распахнутую дверь виднелись зелёные липы. Оттуда, снизу, добирался до меня запах свежей листвы и тёплого асфальта.

Это были особые дни, мои любимые. Дальше тоже предстояло много хорошего, но... Я уже знала, что всё это – и трава, и деревья, и даже солнце – постепенно делается проще, мощнее и грубее. Я помнила, как в прошлом году всё вокруг потеряло свой свежий блеск, покрылось пылью. Как уличный воздух почему-то утратил свой зеленоватый оттенок, стал похож на застоявшуюся в графине воду.

Но в этот день воздух был такой... такой... будто его только что налили. И ещё капнули туда что-то ярко-зелёное. Воздух подбирался ко мне, обнимал, звал на тротуар, под липы.

Но я не поддавалась на его ласки. Я свернула налево, туда, где воздух был просто белый, где пахло горячей землёй, кирпичами, мусорником и уборной.

К большому моему огорчению, во дворе никто не стирал. И вообще никого там не было. Некому было полюбоваться на моё корыто.

Я расположилась в неудобном месте, прямо у колонки, потому что донести воду до груши или даже до Ксениного палисадника не сумела: вода расплёскивалась, я только облила себе ноги и трусы.

Итак, я уселась на корточки перед своим корытом и стала намыливать платок. Почему-то ожидавшаяся радость всё не наступала. Неуклюжее мыло выскользало из рук на землю. Очень скоро оно покрылось песочными

прыщиками. Не мыло, а наждак какой-то! Тереть платочек этим наждаком было не так уж приятно. Может, из-за песка и пена никак не получалась. Что я ни делала – не всходила она, пена. Я даже совала мыло прямо в воду, но и это не помогало.

Тут к моему корыту подползла тень, а следом за ней – ещё одна. Голову я не подняла, но усилила свои старания. Стала деловито окунать платочек в воду и вытягивать за два уголка, ожидая похвалы. Вот оно! Сейчас вокруг меня соберётся целая толпа, все станут цокать языками и говорить, какая я замечательная хозяйка, какая помощница у мамы. А главное – какое у меня невиданное корыто, какая доска.

Толпа всё не собиралась, но одна из теней голосом Талкиной мамы сказала:

– Что же это ты такое делаешь?! Мама достала где-то кусок мыла, это ж сейчас нигде не купишь, а ты вон уже смылила половину! Вываляла в земле!

Тут я подняла-таки голову и увидела не толпу, но почти толпу. Рядом с Талкиной мамой стояла Талкина бабушка, возле неё Лёвкина жена с бигудями, а позади ещё и Блиндерша. И все они наступали на меня и грозно вырастали на глазах. Шипели, шамкали, тьякали. Про мыло, про маму, про мыло, про маму... И никто, никто из них не посмотрел на меня с восхищением. Какое там восхищение! Смотрели они так, будто сейчас, все вчетвером, начнут откручивать мне уши. А, может, вообще забьют до смерти. Но испугалась я не этого. Просто до меня дошло вдруг, что я, не спросив разрешения, не подумав хорошенько, взяла и погубила такую редкость, такую драгоценность. И сейчас они все начнут кричать, и позовут мою маму. И мама станет плакать. Может, даже в обморок упадёт. И... И...

Я уже сама не знала, чего боюсь. Хотела только, чтобы они ушли, чтобы замолчали, чтобы перестали на меня смотреть, как на преступницу, как на убийцу.

И тут за одну секунду родилась у меня спасительная идея. Я вдруг вспомнила про маленькую забавную чёрную штучку, которую накануне подарил мне дядя Евсей. Он сказал, что это катушка от печатной машинки. На катушку она похожа не была, ну ничуть. Два плоских диска с дырочками, а между ними короткий стерженёк. Я ещё не успела придумать, каким образом эту штучку использовать – а она уже выскользнула из рук и закатилась глубоко под диван.

Вспомнила – и мне тут же стало легче дышать. Я уверенно, я снисходительно посмотрела на всех этих взрослых, на тётю Дусю, которая как раз подросла к нам, и сказала:

– Подумаешь! У нас под диваном лежит машинка, которой папа делает мыло. У нас такого мыла – сколько захочешь! Чик – и выскакивает!

Почему-то сама я мгновенно поверила в свою версию. Вот вчера не понимала, зачем эта штучка, а теперь, наконец-то, поняла.

Со спокойной совестью я снова взялась за свою стирку. Но тут Блиндерша выдвинулась вперёд, одной рукой подцепила меня за локоть,

другой рукой как-то мгновенно сгребла мои вещи – и поволокла меня к чёрному ходу, домой. Локоть мой так неудобно задрался, что было очень трудно идти по ступенькам. Блиндерша позвонила в нашу дверь, втокнула меня, сунула маме корыто и доску. Мыло она оставила у себя, держала его как-то по-особому, на отлёте.

– Смотрите! – сказала она маме. – Ваша красавица рассказывает там всему двору, что ваш муж варит мыло!

– Что? – закричала мама. – Мы-ыло? Какое мыло?!

И тут уже мама схватила меня за локоть. И стала лупить при всех.

Господи! До чего это было унизительно! Ты и так в одних трусах и босой, а тебя ещё как-то вывернули кверху, так что пальцы едва касаются пола, ты еле-еле бегаешь по кругу, а тебя трясут и шлёпают, шлёпают и трясут... Ты не замечаешь даже, больно это или нет, но стыдно до того, что хочется умереть. И все вопят!

– Какое мыло?! – вопит мама.

– Прекратите, Соня! Что вы делаете? Это же крошечный ребёнок, она же ничего не понимает! – пищит Фаня Наумовна и пытается поймать маму за руку, остановить эту дурацкую карусель. – За что вы ее бьёте?

– Варит, варит! – кричу я. – Честное сталинское! Вон там, под диваном, машинка! Чёрненькая!

И чем сильнее мама лупит меня, чем злее трясёт – тем крепче становится моя уверенность в том, что всё так и есть: папа действительно варит, варит мыло.

Блиндерша стоит в дверях и смотрит с интересом. Терпеливо так смотрит, держит наше мыло в руке, будто ждёт, что этот кусок отдадут ей в награду.

Но мама не отдаёт ей мыло. Она кладёт его на столик, закрывает за Блиндершей дверь, затаскивает меня в комнату и там горячим, каким-то сковородочным шёпотом шипит прямо в лицо мне, прямо в ухо:

– Ты что, хочешь, чтобы папу забрала милиция? Чтобы его посадили в тюрьму на десять лет?

Я в ужасе тарашусь на неё. Я действительно ничего не понимаю. Почему милиция? Почему заберёт?

А мама шипит и шипит, описывает мне шёпотом, что с нами будет, с ней и со мной, если папу посадят в тюрьму.

– Вот пойдёт Ира домой, – добивает меня мама, – расскажет своему папе, что ты там болтала во дворе. И никто не будет разбираться! Люди и не за такое пострадали!

Тут из коридора просачивается запах горелого мяса. Мама, наконец, бросает меня и бежит туда, спасти наши котлеты. Слышно, как она стучит ножом по сковородке и тихонько спорит с Фаней Наумовной. А я стою между буфетом и диваном, уткнувшись носом в угол. Стою и жду, жду, что

вот сейчас зазвонит звонок и кто-то за дверью скажет: «Открывайте, милиция».

Когда-то давно милиция приходила к нам. Поздно вечером пришли двое, оба огромные такие, и стали проверять паспорта. Кто-то заявил в милицию, что няня моя живёт с нами не прописанная. Но тогда всё закончилось хорошо. Нюра была у нас прописана, и милиционеры её не забрали в тюрьму. Но всё равно было очень страшно. А тут... Хорошо, что эта машинка закатилась так далеко под диван. Если диван не отодвинуть, машинку ни за что не найдёшь. Ну а если отодвинут?

Я начинаю тихонько плакать. Что же, что же это будет, если моего папу заберут на целых десять лет? Тут до вечера невозможно дотерпеть! Изведёшься вся, пока, наконец, раздастся его двойной звонок. Такой особенный, весёлый звонок, обращённый лично ко мне. «Дзынь, дзынь!» Или воскресенье... Сколько приходится ждать, пока оно настанет, воскресенье! А тут – десять лет! Всё равно что десять раз ждать ёлку.

– Послушайте меня, Соня, – доносится из коридора. – Это же дураку понятно. Ну какое мыло?! Когда варят мыло, такая вонь стоит – на всю улицу! Какие соседи позволят варить в коммунальной квартире мыло? И вообще... Посмотрите! Это же видно сразу, что мыло фабричное!

– Ай, мало ли что там видно! Если они захотят придраться, они ни на что не посмотрят! Разве не посадили человека на десять лет за несчастную рюмочку спирта?

– Ну, не рюмочку...

– Да там и рюмочки не было, в этом пузырьке! Люся говорит, что это был пузырек от йода.

– Один раз пузырёк... Второй раз пузырёк... – Я так и вижу, как у Фани Наумовны поджимаются губы. – Вот и набирается!

– Да там за всю жизнь на заводе на этом не было столько спирта, сколько ему насчитали! А Анна Михайловна? Анну Михайловну вообще ни за что посадили!

Мама шепчет и шепчет... И каждый раз кажется, что кто-то плеснул мне на спину кипятком.

Знаю я, знаю про этот спирт. Это папа Лёнчика-Пончика украл его на заводе. И теперь Лёнчик не выходит во двор. Гуляет на улице и смотрит на нас издали. И Верка так смотрит. Все дети так смотрят, у которых папа в тюрьме.

Я могла бы спокойно уйти – к окну или на диван: мама никогда не проверяет, стою я в углу или нет. Просто забывает сразу. Но мне самой хочется стоять в тесном тёмном загончике. Хочется вжаться в стену и исчезнуть там, в кирпичной толще, где по ночам шуршат, смеются и звенят посудой крошечные лилипуты. Там наверняка нет милиции, нет никакого «финодела». Уйти! Туда, где горит особый их застенный свет, где они едят за маленькими столиками своё лилипутское мороженое.

Хороша же я! Сама буду есть там мороженое с лилипутами, а папа тут, из-за меня...

Нет! Если папу посадят в тюрьму, я буду стоять вот так в углу все десять лет!

Я затыкаю уши. Я уже не слышу маминого голоса. Но внутри, в голове моей так и каркает, так и крикает, кукарекает: «Пусть придут до меня! Пусть хоть всю квартиру обыщут вверх ногами – у меня ничего нет! Мне нечего бояться!»

Кто это кричит? Талкина бабка? По голосу слышно, что есть, есть ей чего бояться! Я ещё сильнее затыкаю уши. Но с заткнутыми ушами голоса у меня в голове звучат ещё громче. Прямо стучат по черепу. «Нечего бояться? Нечего бояться? – напирает старая Сорока. – А кто картошку терёт и крахмалом на базаре торгует?» – «Какой крахмал? Какой крахмал? Уже нельзя натереть картошку на деруны? Я деруны жарю!» – «Как же, деруны... Полное корыто натираешь! На деруны?» «А ты думаешь, тебя по головке погладят за твоих студенток непрописанных?» – «При чём тут студентки? Они у меня пару ночей переночевали! Послезавтра уедут. Я всех соседей поставлю свидетелями!» – «Ага, соседи... Поставь, поставь! Да Муська твоя первая доложит, что они у тебя с прошлого года живут!» – «Пусть только попробует! – пугается Сорока. – Она на вокзале, в буфете своём, потроха ворует! Я сама у неё покупала и индюшиные шейки, и печёнки! Пусть кто-то хоть слово на меня ляпнет! Я тогда никого не пожалею! Я и на Ксеньку с её валенками, я и на Катьку с её абажурами финодел нашла!»

Если бы Сорока увидела моё мыло – она бы точно на папу этого финодела наслала. Между прочим, Ирки тоже не было во дворе. Но маме виднее. Может, Ирка стояла где-то, пряталась. Нарочно, чтобы всё подсмотреть, подслушать и потом рассказать своему папе.

Почему именно папе? Ведь Иркин папа не милиционер. И даже не дворник. Это дворники должны рассказывать милиции про всех жильцов. Но, может, и шофёры тоже должны?

Я пытаюсь вспомнить лицо Иркиного отца. Лицо как лицо... Широкое, не злое. Кепка, коричневая кожанка, чёрные сапоги. Про него, между прочим, тоже всякое говорят. Будто Матвей на своём грузовике что-то не то возит. И берёт за это деньги. А когда Иркина мама напивается пьяной, она вообще рассказывает, что прятала Матвея под кроватью, чтоб его на фронт не забрали. Я своими ушами слышала, как тётя Дуся с Катей обсуждали это. И говорили, что, наверное, прятала, потому что если бы не прятала, то он, Матвей давно уже бросил бы её, пьяницу окаянную.

В каждом дворе есть свой пьяница. У нас главная пьяница – женщина. Грунька, Иркина мама. Я думаю, что Матвей не бросает Груньку, потому что любит Ирку. Когда Матвей возвращается с работы, Ирка бросается ему навстречу, обнимает за шею, целует, хотя он, Матвей, совсем какой-то

некрасивый. Не то, что мой папа. У моего папы глаза большие, голубые, как васильки, а волосы чёрные и блестят, как пианино. Все девочки мне завидуют. Интересно, если бы мой папа был такой же некрасивый, как Матвей, с таким же широким лицом, с такими же тонкими губами, с оттопыренными ушами, на которых лежит кожаная кепка, как трубка на телефоне, а глаз под козырьком вообще не видать... Да, так вот: если бы мой папа был, как Матвей – неужели я бы его любила?

Трудно сказать... Наверное, любила бы. Всё-таки Матвей ничего. Он всегда аккуратный, чисто выбритый. А вот как это – любить Груньку? Как её любить, такую?

Бедная Ирка! Вот как бы я себя чувствовала, если бы это моя мама ходила бы всегда растрёпанная, грязная? Ну просто баба Яга настоящая! Лицо большое, длинное и всё какое-то мягкое. Рот пустой, чёрный. Только три жёлтых зуба торчат в разных местах – чтобы страшнее было, наверное. Волосы из-под косынки топорщатся клочьями, будто Грунька никогда не причёсывается, а только чешется. И всё на ней линялое, всё грязное. Юбка, как тряпка, передник, как тряпка. А хуже всего – пиджак. Огромный и весь такой, будто его собаки рвали. Главное – велик он на Груньку. Рукава-то она подкатывает, а вот плечи съезжают – то на одну сторону, то на другую. И видно, что надет пиджак то ли на нижнюю рубашку, то ли вообще на голое тело. Где она этот пиджак подобрала? Наверное, на мусорнике. Кажется почему-то, что не только Грунька пьяная, но и каждая вещь её, отдельно, сама по себе, тоже пьяная. Пьяный пиджак сползает, пьяный передник мотается туда-сюда. А пьянее всех – ботинки. Огромные ботинки, без шнурков, расхлябанные, языки высунуты. Вот-вот что-нибудь учудят! То ли совсем свалятся с босых Грунькиных ног, то ли запоют, заорут что-то гнусавыми голосами: «Да! Мы тоже с мусорника! И гордимся этим!»

Как Грунька тогда кричала? «Да! Я – дрянь! Я по мусорниках рыться люблю! Я гимно люблю! Я чернозём люблю! И горжуся, и горжуся этим! Ненавижу Кильку! Ленку ненавижу! Дуську ненавижу!»

Господи! Какой у неё был страшный рот! Горячий, красный. Сам, как мусорник. Что-то брызгало, брызгало оттуда... Мне казалось, что я вижу их, грязные Грунькины слова:

– Всех ненавижу! Всех! Всех! Атомну бомбу на вас!

Потом она вдруг всхлипнула и закричала ещё громче:

– Только Бузю уважаю!

Тётя Бузя Груньку услышала и тут же показалась в своём окошке. Перепуганная. Из-под левой руки у неё высунулась Римкина голова, над правым плечом – Милкина. Все длиннолицые, глазастые и кудрявые.

– Бузя мне стакан рису дала! Бузя мне стакан манки дала! Бузя мне стакан гречки дала! Бузя мне десять рублей денег дала, когда в Ирочки была скарлатина! Шоб весь этот дом сгорел! Шоб весь этот двор сгорел! Иди, иди, Дуська, забери своих карликов! Тащи их до хаты! Давай, давай, показывай из себя культурную!

Тётя Дуся тогда, действительно, толкнула Кольку в дом, а потом ещё и нас с Лоркой увела, чтобы мы не стояли, не слушали, не учились плохим словам. Тётя Дуся очень злилась, когда Грунька называла её детей «карликами». Дети её вовсе не были карликами, но Грунькины, конечно, были куда крупнее. Грунька этим очень гордилась. Всё время сравнивала. Ирка, мол, Лоркина ровесница, а выше её на целую голову. А Шурка в два раза больше Кольки. А Ромка выше Люськи, вдобавок он институт кончает, а Люська учится в зашмарканном техникуме.

Про институт и техникум – это, конечно, правда была. Институт, ясное дело, лучше. Но Грунька больше всё-таки напирала на рост, хотя совсем непонятно, зачем это Люське быть такой же высокой, как Ромка. Это уж совсем смешно было бы. Ромка, когда становился на цыпочки в дверном проёме чёрного хода, упирался головой в деревянную раму. А уж Шуркой хвастаться – вообще странно.

Шурка родился какой-то не такой. Ему давным-давно пора было ходить в школу, а он не ходил. Сидел дома или слонялся без толку по двору. Сам розовый, волосы белые, губы толстые – красные-красные. Причём нижняя отвисает немножко и всегда мокрая, всегда на ней слюнка висит. Он даже имя своё выговаривает неправильно. Не может сказать: «Шура». «Фуля», – говорит. Мальчишки над ним смеются, в игры не принимают, он только стоит и смотрит. Мальчишки даже стенгазету на него нарисовали, с карикатурами. Вот карикатуры, между прочим, очень красивые получились. Колька вообще здорово рисует, он даже Зою Космодемьянскую нарисовал. Очень похоже! Как раз Фуля у него непохоже получился, но смешно. На одной картинке Фуля заглядывает в горшок, изо рта у него выплывает дым, а в дыму написано: «Очень вкусная каша». Это Валька нам прочла. На другой картинке – Фуля сидит на дереве, рвёт груши и складывает в кепку. Потом нарисовано, как он несёт эти груши, а на последней он звонит в дверь, там тоже есть дым, а в дыму тоже Фулины слова: «Дас копэйку?» В самом конце газеты Колька нарисовал вылезающую из дверей огромную дулю с рукавом, с часами и подписал вот таковыми буквами: «На тебе, Фуля, фигу с маком!»

Все очень смеялись, и я тоже. А я ведь Фулю любила гораздо больше, чем любого из наших мальчишек. Они злые, вредные, а он глупый-то глупый, но самый добрый и, вообще, самый хороший из них. Он один мог меня выручить, если у меня мяч падал в подвальную яму. Правда, всегда спрашивал сначала: «А дас копэйку?» Копейки у меня никогда не было. И я честно говорила об этом Фуле, но он всё равно лез и мяч доставал. А потом ещё как-то зимой, когда я нашла под снегом большущее стекло и хотела взять его для секретиков, стекло оказалось примёрзшим и разрежало мне большой палец, прямо с рукавичкой. И о чём только я думала? Какие секретики зимой? Что я собиралась этим стеклом накрывать? Ничего красивого не найти – ни цветов, ни пёрышек. Пусть бы у меня даже были

какие-нибудь там фантики от конфет... или бусинки... всё равно ведь в замёрзшей земле ямку не выкопаешь!

Так вот Шурка тогда повёл меня к себе домой. Порез был глубокий, крупные красные капли падали в снег и тут же превращались в бусинки.

Идти в Грунькино логово было очень страшно. Но идти к маме и показывать ей этот разрезанный палец – было ещё страшней.

Шурка позвонил в дверь. Я ждала, что вот сейчас она откроется, и оттуда завоняет, поедет на меня мусорная куча. Но никакой кучи за дверью не оказалось. Наоборот, было там очень чистенько. Строго, просто и чистенько. Застеленные кровати, стол под окном. За столом Ирка рисовала красками, а в комнате было как-то по-особому, как-то щемяще светло. Может, от того, что окно выходило прямо на землю, укрытую пухлым, неутоптанным снегом. Снег сиял. Кое-где его протыкали веточки сирени, еще каких-то кустов. И так красиво выглядел тополь, уходящий вверх ажурным веретеном, со снежными перепонками в развилках ветвей!

Стол, подоконник, снег – всё было белое, всё было на одном уровне. И ни единой лишней вещи. Не было одежек на спинках стульев. На столе, на кроватях не валялись газеты и книги. Книги стояли на специальной полочке, подвешенной на стене у окна. Я ужасно позавидовала Ирке на эту полочку, хотя детских книг на ней не заметила. Всё там было какое-то взрослое, строгое. Наверное, Ромкино. Зато у Ирки был альбом, настоящий толстый альбом для рисования. С белой, как снег, бумагой. Да ещё настоящие краски в придачу! И банка с водой, куда Ирка сунула свою кисточку, когда пошла смотреть, как мне промывают разрезанный палец. Грунька намазала мой палец зелёной, даже подула, чтоб не так пекло.

– Походи тут, – сказал Шурка, озабоченно моргая белыми ресницами. – Подожди, пока кров подшохнет. Потом спрячешь палец в кулак. Может, не заметят...

Шуркины слова меня очень удивили. Сидя на стуле напротив Ирки, которая снова взялась за рисование, я стала гадать: это он сам такой проницательный – или просто слышал от детей во дворе, что мне влетает от мамы из-за каждого синяка, из-за каждой царапинки?

Вообще-то я всегда подозревала, что он не такой уж глупый. Просто врать не умеет, ну совсем не умеет врать!

Взять хоть тот случай... Ну, когда Грунька кричала, что любит рыться в мусорниках. С чего тогда началось? С пирожка. Тётка дала Шурке пирожок...

Вообще-то она, Килька, с сёстрами своими не дружила. Ни со старшей – Ленкой, ни с Грунькой, младшей из трёх. Тощая, длинноногая Килька была почти «культурной», во всяком случае, старалась. Она работала в детском саду и ещё получала пенсию на Галку с Нинкой, за погибшего мужа. Вдобавок и жила она на втором этаже в хорошей комнате, а не в каком-то

подвале. Когда соседи возмущались Грунькой, то непременно тут же вспоминали Кильку и очень хвалили её. Как она одна, без мужа, так замечательно ведёт дом и воспитывает детей.

Про Ленку все молчали. Ленка, как и Грунька, жила в подвале, но подвал её был глубокий, как колодец, с окошком где-то далеко внизу. Так что сверху не было даже видно, горит ли у неё свет. Никто не знал: то ли она не выходит оттуда целыми днями, то ли, наоборот, целыми днями по улицам валандается. Предполагали, что она где-то просит милостыню – тем и живёт. Одевалась Ленка ненамного лучше, чем Грунька, но во всё черное. Я ни разу не видела, чтобы она разговаривала с сёстрами или заходила к ним. Она даже на племянников не обращала внимания. Случалось, изредка пройдёт через двор – ну совсем ужасная! Ведьма, да и только! Даже хуже. Три платка, а под ними вроде как пустота, только очки там светятся и торчит крючковатый нос. Да ещё и клюка. Идёт, в землю смотрит, будто ищет что-то. Вокруг люди возьмётся, дети бегают, шумят, а у старой Ленки такой вид, будто ничего нет вокруг, одна пустота, как у неё под тремя платками.

А ведь среди этих детей было пятеро родных племянников. Ленка и не поворачивалась в их сторону. А племянники боялись её ничуть не меньше, чем другие дети во дворе.

Зато Килька Грунькиных детей любила. Больше всех жалела она Шурку, а гордилась – Ромкой. Хвасталась повсюду, что он учится в институте, ещё и мастер спорта по альпинизму. Каждый должен был понять: вслед за Ромкой и её, Килькины, дети тоже поступят в институт. Уж Килька постарается, уж она всё сделает, чтобы это свершилось! В лепёшку разобьётся, костями ляжет! И вид у неё всегда был такой сосредоточенный, строго напряжённый, будто она и сейчас уже, в настоящий момент, сцепив зубы, разбивается в лепёшку и ложится костями.

Килька заранее на всех смотрела свысока. Озиралась по-особому, маленькие глаза свои щурила, локти поджимала...

Старший племянник был для Кильки маяком надежды, твёрдым обещанием победы. Раз уж он, при таких-то родителях, при такой-то матери, смог добиться всего собственными силами – так о её детях, особенно о Галке, востроносой, курчавой, не по годам сообразительной Галке и говорить нечего!

Килька, вообще-то не сентиментальная, готова была племянников привечать и ласкать. Но Грунька не позволяла. Пиджак пиджаком, зубы зубами, а гордости в Груньке было ого-го сколько! Ходить в гости к тётке категорически запрещала. Если Галка должна была забежать домой за какой-нибудь мелочью, Ирка оставалась у дверей или на лестнице. Терпеливо ждала сестру.

Да что там! Грунька наказывала своих детей, если они имели неосторожность назвать Кильку тётей:

– Тётя Киля-я?! Это кто это у вас? Шо за такая тётя Киля?!

Чаще всего за это попадало бедному Шурке. Та знаменитая ссора из-за него ведь и началась, из-за Шурки. Сидел себе на лавочке, ел пирожок. А тут как раз с базара Грунька возвращается. Входит во двор, щурится на солнце, оглядывается направо, налево, как полководец. Не был бы Фуля дурачком, ел бы свой пирожок как ни в чем не бывало – она бы спокойно прошла мимо. А Фуля быстренько сунул руку с пирожком за спину. И заморгал, быстро-быстро заморгал мохнатыми белыми ресницами. Грунька, конечно же, сразу опустила сумки на землю и сурово двинулась на Шурку. Вытянула из-за его спины руку с пирожком.

– Кто это тебе дал?

Ну, возьми да и назови первое попавшееся имя. Но это же Фуля... Фуля, который совсем, совсем не умеет врать. И он заблеял, испуганно, жалобно заблеял:

– Тётя Киля дала...

Грунька брезгливо выхватила у Фули остаток пирожка и как-то сразу, без паузы запустила его прямо в Килькино открытое окно. Пальцы облизнула, потянулась за сумками, но передумала и заорала вдруг на весь двор. Гнилым, рыхлым голосом заорала:

– Вот! Смотрите все! Люди! Родная сестра до меня не признаётся! Брезгает на меня! Ничего, ничего! Смотрите все, пусть все знают!

Ну, а дальше про мусорники, про чернозём, про тётю Бузю...

Это даже странно, но относились к ней, к Груньке, по-человечески только евреи. Ну, не то чтобы лезли к ней обниматься – но жалели её. Ничего плохого о ней не говорили. Говорили только, что она несчастная. Очень несчастная. Особенно после того, как Фуля сошёл с ума. То всё был дурачок и дурачок себе, и вдруг стал выбегать во двор голый, совсем-совсем голый. Без трусов! Случалось это зимой, как правило, в те дни, когда выпадал особенно глубокий, особенно красивый снег.

Я хорошо представляла себе, как Шурка, просыпаясь по утрам, подходит к окну и видит прямо перед собой, почти перед лицом своим это свежее, это пушистое сияние. Я ведь тоже сходила с ума от такой красоты. Мне самой хотелось что-то сделать с этим снегом. Я чувствовала себя просто обязанной что-то с этим сделать! Вот только не могла понять, не могла расслышать подсказку, гудящую где-то в груди, в горле. И от этого непонимания, от этого переполняющего счастья я только и могла, что заплакать. Стояла и чувствовала, как наливаются глаза слезами, как катятся слёзы по щекам, потому что выхода не было. Можно было, конечно, вырыть пещерку в снегу, слепить снежок, скатать снежную бабу, но даже это ничего не спасало. Ну да, помогало немного, отвлекало от неё, от поющей, от щемящей снежной боли.

А Шурку эта боль вынуждала раздеться, сорвать с себя всё лишнее, всё ненужное, и бежать, бежать туда, в сияние, проваливаться, обниматься со снегом. И совсем, совсем, ни капельки не было смешно, когда он,

белобрысый и розовый, на сияющем белом фоне бегал, бегал по двору, уворачивался от тех, кто пытался лишить его этой радости, кто мешал ему вопить от обжигающего праздничного холода. Лохматые, тёмные фигуры носились туда-сюда за чистой, за нежно-розовой... От Грунькиного садика до Нонкиной ямы, к Берманшиным окнам, а оттуда вверх, на «Фроськину гору», к нашим сараям, которые лепились к задней стене бывшей тюрьмы. С крыши тюрьмы до самой земли свисали – да нет, они не свисали, они стояли! – многоступенчатые, толстые, как колонны, хрустальные сосульки. Фуля хватался за них, перебирал руками, пытался куда-то подняться, куда-то выбраться...

Грунька кричала, дворник бежал почему-то со своей метлой. Бедного Фулю загоняли в угол, в коридорчик между нашим и Витькиным сараем. Там обычно и хватали его санитары, огромные мужики в белых халатах и военных шапках. Вели в синюю машину с красным крестиком на лбу. Шурка упирался, озирался, а Грунька пыталась набросить на него пальто.

Ну и скажите: как можно после всего после этого обзывать Груньку пропащей, пьянчугой и ещё кучей каких-то слов, которых я просто не знала? Деревенские, наверное, слова...

Я смотрела на наших соседок – на Фросю, на Дусю, на Ксеню – и не узнавала их, не понимала, откуда это вылезла из них, из таких добродушных, из таких весёлых, симпатичных – такая собачья, да нет – такая волчья злоба.

Я ужасно боялась, что Груньку в самом деле заберут куда-то. Лишат этих самых «родительских прав». Ушлют из нашего красивого города, далеко-далеко, где таким, как она, самое место. В такое же грязное, такое же лохматое, такое же вечно пьяное село.

Ах, как я была счастлива, когда доктор Дворщина, к которой они всей стаей бросились – со своей злобой, со своими ультиматумами, затыкали, забрызгали слюной – когда наша уродливая, обгоревшая на фронте участковая развернулась к ним и заорала таким же страшным голосом:

– Почему никто из вас не видит, какая она преданная, какая любящая мать? Почему вы не замечаете, какие у неё чистенькие, ухоженные детки?

У Дворщиной даже платок сполз на плечи. На обгоревшем лице натянулись красные жилы. Она хотела что-то ещё сказать, но захлебнулась, топнула ногой и ушла.

Я стояла ошеломлённая и какая-то гордая тем, что она, доктор Дворщина, решилась. Стояла одна против всех и не поправляла, не натягивала на лицо свой платок. Наша Дворщина, над которой за глаза посмеивались. Хотя стыдно это – смеяться над человеком, который обгорел на фронте.

Говорили, что она и до того была уродкой. Сочувствовали тому неведомому мужику, который согласился «сделать ей ребёнка». А в глаза лебезили, сюсюкали, боялись ужасно, что Дворщину переведут куда-нибудь в другой район, потому что всем известно было, что она – один из лучших педиатров города.

И что-то долго ещё оставалось в воздухе после её ухода, все как-то по-другому разговаривали, не смотрели прямо друг на друга. Растерялись будто... И мне казалось, что отныне всё пойдет совсем по-другому, добрее и жалостливее. И я сама стану добрее и жалостливее. Перестану злиться на бабу Гуревич, перестану ненавидеть её. Ведь чем я лучше всех этих женщин, взрослых, толстых женщин, с их толстыми сиськами, с их безобразными кудряшками? За что я ненавижу эту несчастную старуху? Почему грязная, злая, черноротая Грунька вызывает во мне только сочувствие, острую до слёз жалость, а эта безобидная чистенькая старушка – ненависть и отвращение? Ну что в ней такого уж противного? Маленькая, горбатенькая, большеголовая, как сова, с пышной белопенной сединой, как у дамы со старинной картины. Да, носик немножко крючковатый. Но ведь небольшой, аккуратненький. А глаза – огромные, чёрные, печальные...

Между прочим, у Гуревички – может быть, у одной на весь двор – халат всегда был при всех, да ещё при родных пуговицах. Причём – свежий, не застиранный. У неё и тапочки были своего, первоначального цвета, а не пыльно-рыжего, как у всех. Сидит на своём стульчике, таращится во двор. Пожалуй, даже красивая старушечка. А я как посмотрю на неё – так и замутит внутри! Ну прямо как от манной каши с комками. И чем печальнее она смотрит, чем больше слёз в этих огромных глазах, тем нестерпимее разрастается во мне злоба. А когда кто-то подходит к ней, кто-то, готовый слушать её бесконечные жалобы, как только слёзы её с благодарной поспешностью скатываются по щекам, как только раздаётся её голос, будто придавленный дверью, как только я слышу это её первое «ой»... Две, несчастные две буквы – а в них уже столько всего неправильного! Такой занудный, такой позорный, растянутый, гнусный звук, который позорит не только её, но и меня! Зубы у меня начинают сжиматься, ногти впиваются в ладони. Хочется, чтобы она в ту же секунду замолчала!

Если бы в злости моей была сила хотя бы такая, как в моих руках – несчастная бабка тут же захлопнула бы свой рот, пустой и тёмный, похожий на маленькое дупло. Спиной полетела бы вниз, в свой чёрный подвал, где вечно читает газету её сын, чёрный сыч Мишка. А внуку её, головастике Альке, негде спать, потому что она всё не умирает и не умирает. А в комнате всего двенадцать метров и пахнет грибами.

Но никакой силы в моём взгляде не было, и бабка к своему длинному «о-о-ой» прибавляла ещё более противное «вэй». Дальше уж – кто подходил. Если еврей, бабка переходила на еврейский. Тогда вообще ничего нельзя было понять. Но и на русском было не намного понятней. Всё равно – какое-то «карр-карр». Но ясно было, что про Бэлку, про невестку. И все бабке сочувствовали, хоть евреи, хоть не евреи, потому что Бэлка никому не нравилась. И мне не нравилась. Такая же маленькая, такая же квадратненькая, как все Гуревичи. Но, в отличие от них, не вялая, не сонная. Наоборот, всегда воодушевлённо-бодрая. Тоненькие губы поджаты. Знаю, мол, знаю, что все вы мне завидуете! Знаю, что слушаете свекрухин скулёж.

Но мне это – безразлично! Потому что у меня – высшее образование! Вот я спускаюсь по своим ступенькам в своё подzemелье – и я там теперь главная хозяйка! Я, а не свекруха!

– Бэлке, Бэлке, Бэлке! – лепетала Гуревичка. А к горлу моему всё ближе подбиралась тошнота.

Я ничуть не сомневалась в том, что Бэлка ненавидит старуху, что человек с такими губами, с такими вот вздутенькими ноздрями вполне способен подсыпать отраву в еду. Может и заколдовать. А что? Кто её знает...

Впрочем, в колдовство верилось как-то меньше.

Старухи слушали Гуревичку с удовольствием, подавшись вперёд. Будто вдыхали её слова. У неё действительно как-то по-особому пахло изо рта. Чем-то сладким, вроде как... сливочной помадкой.

Я никогда не понимала, что она говорит, Гуревичка. Но потом, на угловой лавочке, наши старухи каждый раз с жаром обсуждали её положение. Сидели, как пыльные чучела птиц, все беззубые, все носатые. Разве что у нееврейских старух были одинаковые чёрные пиджаки и белые платочки, а у еврейских – вязаные кофты. Всем было приятно. Пиджачные радовались, что вот, мол, теперь и у евреев невестки такие же сволочи, как и у них. Тем, которые в кофтах, приятно было, что Бэлка со своим дипломом – такое чудовище, а они без всяких дипломов «носили своих свекровей на руках».

Свекровей ни у кого из них, естественно, не было. Настоящих, совсем старых стариков прибрала война. Кого-то расстреляли в Бабьем Яру, кто-то умер от голода и болезней при немцах, кто-то в эвакуации, кто-то вообще по дороге в эвакуацию, в поезде.

На весь дом, кроме Гуревички, осталось только три свекрови. Но те во двор не выходили. Они тоже жаловались на невесток – на улице, возле парадного, где останавливались поговорить «культурные».

Бабка Гуревич с «культурными» не разговаривала. И она им не навязывалась, и они не проявляли к ней интереса.

«Уличные» и «дворовые» вообще жили какими-то отдельными, мало пересекающимися жизнями. Особенно – дети.

«Дворовые» дети играли сами. Сами присматривали друг за другом. Впрочем, редко бывало такое, чтобы во дворе не оказалось кого-нибудь из взрослых. Так что ничего плохого там никогда не случалось. А игры точно были куда интереснее, чем на улице.

«Уличные» дети сами не гуляли. Чаще всего их выгуливали няни. Кого-то – старенькие, еще родительские. Кого-то – молоденькие деревенские девушки. Старушки спешили поскорее увести детей в сад, благо он был в двух шагах. Молоденьких няnek тянуло на бульвар. Там у них были свои приятельницы, тоже деревенские. А главное – там они знакомились с

молодыми парнями. Чаще всего это были солдаты. Дети сидели рядом, слушали. В общем, жизнь у них протекала довольно скучно. Они-то были знакомы между собой, но встречались только возле парадного – когда выходили на прогулку или возвращались. Тарасились друг на друга, переминались с ноги на ногу, каждый со своим обручем и с палочкой.

Когда-то и я была «уличной». Но потом мои родители стали говорить, что няня должна чему-то учиться, получить профессию, завести семью. Что всю жизнь провести в няньках – это не дело. Учиться Нюра не пошла, но устроилась на работу в ресторан. Это было недалеко от нашего дома, и она почти каждый день забегала к нам.

Ещё до того, как Нюра переехала от нас, она стала потихоньку выпускать меня во двор. Так что я оказалась какая-то средняя – и «дворовая», и «уличная».

Мои родители тоже были какие-то... средние. Возле плиты моя мама возилась в растянутом халате, на котором не хватало пуговиц. Папа ходил на работу в сапогах и телогрейке. Но по выходным мама наряжалась в шёлковое, сумеречно-синего цвета платье, со странными бледными цветами. На груди прикалывала брошку, подводила губы тёмно-красной помадой. Папа надевал свой синий костюм, голубой галстук с серо-оранжевыми полосками. У папы даже запонки были. Меня тоже наряжали по-особенному. И все втроем мы отправлялись гулять в «город». Или просто прохаживались по нашему кварталу – взад и вперёд.

Другие «культурные» тоже прохаживались взад и вперёд. Поравнявшись, семьи здоровались. Наверху – взрослые, внизу – дети. Либо просто улыбались друг другу. Иногда останавливались поговорить. Все такие важные, такие приветливые, такие нарядные! Хождение это было похоже на танцы – что-то вроде уличного бала. Интеллигентные, поджарые Белоусы со своей пугливой Лялей. Маленькие, как гномы, Митники. Они за две руки держали свою послушную, толстую, румяную Свету. Папа Светы нёс ее скрипочку, мама – коричневую папку с нотами. Точно так же держали за руки своего рыжего Венечку образованные Тарсисы. Статные, величественные Дефонже – красавицу Лёлю. Все трое – сияюще-белокурые.

«Добрый день!» «Доброго здоровья!» «Добрый вечер!» «Как она подросла! Настоящая барышня!»

Каждое воскресенье они восхищались тем, как я подросла! Если бы я в самом деле так росла, я стала бы уже выше дяди Стёпы. Уж точно выше Грунькиного Ромки. Но больше им нечего было сказать друг другу. Это было похоже на песню. Песню про погоду, про международное положение. С припевом таким: «Ах, как она выросла!»

Во всём нашем хождении угадывался благородный, красивый ритм, особый мотив. Под этот мотив воздух становился всё темнее, сливался с маминым платьем. Над мостовой зажигался фонарь, похожий на мужскую шляпу. От него наряды становились ярче и таинственнее. И до одури пахло липой, цветущей липой.

Скрипела дверь. Все поворачивали головы, ждали. Кто же это сейчас появится на пороге, кто присоединится к нашему вечернему ритуалу?

А-а-а! Вот кто! Георгий Аветович, с длинными седыми волосами, в чёрном кителе. Смешной Георгий Аветович, у которого весь профиль состоит из носа.

Он как-то весь, всей своей фигурой, был похож на огромный нос. Когда по радио передавали рассказ про «Нос», я была уверена, что речь идёт о нашем Георгии Аветовиче. Что вот раньше он был где-то в Петербурге, а теперь поселился здесь, в нашем доме, женился на своей «старой барыньке». Она у него всегда ходила в длинном приталенном пальто, либо из сукна, либо из шёлка. Стройняшечка, туго подпоясанная. Добродушное её личико обязательно обрамляло что-нибудь ажурное, белое. Своих детей у них не было. Но Георгий Аветович очень любил детей, и поэтому в вечерних танцах у него была своя, особая партия. Они шли целеустремлёнными зигзагами, от группы к группе. И-раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз! Остановка перед очередной группой, глубокий поклон, рука, протянутая к детской головке. К беленькой, к чёрненькой, к рыженькой...

Соседи любили Георгия Аветовича, но говорили, что у него не все дома. Я думала, что как раз то и имеется в виду, что нет у него, у Георгия Аветовича, у барыньки его старой своих детей.

Странно... Они были такой же неотъемлемой принадлежностью нашего дома, как старые липы, как фонарик над парадным, как ажурные ворота. А между тем никто ничего о них не знал. Никто не заметил, как и когда они исчезли.

И-раз-два-три, раз-два-три...

Небо уже почти чёрное. Наряды становятся всё ярче. Быстро, одно за другим, загораются окна. В каждом окне – другой свет: жёлтый, голубой, розовый, скучно-белый. Будто стаканы, наполненные разноцветными чаями, в которых плавают, как кружочки лимона, красные, жёлтые, голубые абажуры. Медленно катится сверху поливальная машина, осторожно гонит вниз окурки, спички, опавшие цветки липы. Тогда чай из окон начинает подтекать на тротуары. Жёлтые, красные, голубые подтёки. Ой, сейчас все наши папы испачкают свои белые брюки!

Я потихоньку нагибаюсь, быстренько макаю палец в красную воду. Подставляю под луч фонаря. Нет. Белый. Почему-то палец белый. Может, красное быстро стекает?

Выплывает из парадного красавица Луковская. Плоская квадратная сумка надета на руку. Старенький муж её гордо семенит сзади. Куда это они идут без Юльки? Наверное, в гости или в кино. Или вообще в оперный театр.

И весь мир похож на огромный оперный театр. В этом театре идёт длинный красивый спектакль. С чудесной музыкой, с волшебными декорациями. И нет, и не может быть там, за домом, ни мусорной кучи, ни уборной, ни Груньки.

Но я знаю, что всё там есть. И Грунька, и уборная с крысами, и цветы, и детей полно. Там тоже окна. Они щедро освещают землю, тот плоский клочок двора, где дети гоняют в лапту, а взрослые сидят на лавочках. Мужчины возле Катькиного окна играют в домино. «Тах!», «тах!», «тах!» – стучат по столу костяшками изо всех сил. Будто это обязательно так нужно, чтобы все вокруг знали, от подвала до четвёртого этажа, что они, вот, сидят тут и играют в домино!

Женщины беседуют на лавочках. Подпирают груди сложенными руками – будто хвастают друг перед другом, у кого больше. Довольные... Обсуждают кого-то. Кого нет – того и обсуждают. Кто одевается плохо, кто слишком хорошо. Кого муж бьёт. Кто держит квартирантов непрописанных. Кто что с работы тащит. Делятся рецептами. Коганша учит Мультманшу печь «кекс весенний». Она в «Работнице» рецепт нашла.

– Берёте полкило муки, пять желтков, три четверти стакана молока...

– Так цэ ж сама обычна паска! – удивляется Фрося.

Тётя Бузя уговаривает всех покупать поджарку.

– Это очень, очень выгодно! Вы можете просто её пожарить с картошечкой. Можете сделать из неё бигус. А можете просто сварить. На наваре сделаете супчик, а мясо перекрутите. Будут макароны по-флотски. Или вареники. И вот вам почти даром полный обед!

– Так это ж какая возня с варениками! Пока накрутишь, пока налепишь...

– Да, – соглашается тётя Бузя. – Я б для себя не стала возиться. Но дети хорошо их едят.

– Мои вообще ничего не едят, даже вареники, – жалуется Дуся. – Такой суп, такой суп вчера сварила! С грибами с сушёными! Лук поджарила, сметанку дала! Поковыряли, поковыряли и бросили. Господи! Уже не знаю, чем их кормить! Такие ж худые, такие ж зелёные! Аж прозрачные! Ваши обое моложе моих – и вон, смотрите, выше насколько!

– Ай, не волнуйтесь, Дусечка, – говорит тётя Бузя. – Дети растут по-разному. Вы, нивроку, высокая, Андрей – высокий. Ничего, подождите. Они ещё вырастут выше, чем вы.

Дуся вздыхает. Блиндершина Клавка, сощурившись, вышивает что-то на пальцах. Совсем уже темно, а она вышивает...

Небо чернеет. Краски сгущаются. Всё красивее, всё страшнее горят цветы на «Фроськиной горе». Высоко-высоко. Днём не бывает таких густых, таких ярких красок. Пахнет молодыми чернобривцами, пахнет Ксениными гвоздиками. Широкая неповоротливая тень появляется в окне и зовёт:

– Ва-ля! До-мой!

– Ну, ма-ам... Ну, ещё минутку...

– Я сказала, домой!

Тётя Бузя ласково уводит за локти своих девочек.

– Витька!

Детей разбирают по одному. Двор пустеет, пустеет, как шахматная доска.

А я ещё гуляю. С той, с другой стороны. Я ещё хожу взад-вперёд по улице, в своей розовой разлетаке, украшенной пухлыми белыми шнурами, пушистыми кисточками. «Дворовые» дети, которые случайно выглядывают на улицу, смотрят на меня чуть растерянно, как на чужую. То ли в самом деле не узнают, то ли делают вид, что не знакомы со мной. Будто может произойти какая-то неприятность, если Луковская или Дефонже узнают, что утром я, без мамы, без няни бегала по двору в трусах или в синем сарафане, на который посадила огромное пятно зелёнки. И завтра тоже буду бегать. И услышу плохие слова, которые говорят мальчишки. Услышу всякие непонятные дворовые тайны. И про Груньку, и про Ленку, и про Геньку, и про Котову.

А ведь действительно... Не стала бы мама Лёли Дефонже так стараться подружить нас, не звала бы меня в гости, если бы видела, как я там бегаю, как смотрю на дочку Котовой – большую, рыхлую, сонную, к которой подходят по очереди её близнецы, уже достаточно большие, чтобы играть с нами в лапту. Подходят – потные, пыльные – и сиплыми басками требуют: «Ма-ам, цыци!» И Котова, не прерывая разговора с Ксенькой, расстёгивает полосатую блузку, вываливает оттуда огромную, как ведро, коричневую грудь. И мальчишки сосут её, так вот, на ходу, стоя, бдительно поглядывая в нашу сторону, чтобы не пропустить свой ход...

Господи! Чего только я не видела! Видела, как Катька, прямо при всех, задрала юбку и показала Витькиной матери большую белую задницу. Видела, как голый Шурка бегаёт по снегу, прячется за кустами, махровыми от инея. Видела такое, что и рассказать нельзя. То есть видеть не видела... Витька велел нам всем отойти, а сам накакал в ямку и присыпал землёй, чтобы проучить маленькую Талку, которая вечно подсматривала и разоряла наши «секретики». Видела, как она шла с вытянутой вперёд перепачканной рукой. Как бежала к ней с бранью, такая обычно спокойная, бабушка её. «Где же это ты влезла?! Как тебя угораздило?!»

Ой... Видела, как сын Котовой, который ходил провожать друга в армию, сидел на полу, в коридорчике, прямо за распахнутой дверью. Среди розовой пены, среди пьяных вишен, совсем целых, – сидел, тяжёлый, распаренный, мутный. Открывал рот, будто хочет что-то сказать, а вместо слов изо рта вытекала, ползла по рубахе такая же пена, с такими же вишнями. И, глядя прямо на нас тупыми страдающими глазами, он пытался зачем-то стащить с себя брюки.

Нет. Не компания я для Лёли. Лёля вся такая светлая, такая благодная, такая всегда довольная – как ангелок! А я? Всё у меня не так. Вечно мне хочется плакать. То из-за того, что все умрут. То из-за того, что все бросаются на несчастную Груньку. То из-за того, что мама моя зазывает маленькую, квадратную, как сова, Гуревичку в нашу комнату. И она лежит на моём диване. Греется на солнце... На моём солнце! На моём коврикe! На

моей подушке, которую мама для Гуревички покрывает большой специальной наволочкой. И пусть бы уж лежала себе, но тихо, молча! А она всё время стонет, стонет, стонет, стонет... Выдыхает из крошечного рта свою сливочную помадку: «Ой вэй!», «Ой, вэйз мир!» Неужели не хватило бы одного «Ой»? Нет. Она ещё хуже добавляет: «Майн бу-ух!» Откуда-то мне известно, что «бух» – это живот. А слово «живот» и по-русски звучит противно. На всех языках противно! Хуже, чем «попа». И почти так же стыдно. Вот! Пусть бы ещё лежала тут и кряхтела: «Ой, вэй, моя попа!» Вернее, «майн тухес»...

Этому слову нас мальчишки во дворе научили. У нас во дворе вообще все знают это слово. И ещё знают слово «мишигэнэ». И ещё несколько слов.

Если тебя хотят каким-нибудь словом... ну... как будто кирпичом по голове треснуть, то ругаются по-русски. Если вроде как сильно ущипнуть – так, чтоб прямо кусочек мяса выдрать, – то по-еврейски. А если... окатить помоями – то по-украински.

Однажды Котова помоями облила Груньку. Не словами, а самими настоящими помоями. Странная такая история... Вдруг уселась Грунька на корточки под окнами Котовой и возится там, возится... Как девочка. То ли цветочки сажает, то ли секретики закапывает. Но оказалось, что колдует. Мы это поняли потом, когда она закончила свою возню. Прямо перед открытым окном вылепила четыре крошечные могилки и на каждой – маленький крестик из палочек. Мы ужасно испугались. Но не убежали совсем, а только подальше отошли.

Грунька стала перед могилками на колени и давай, громко шамкая, молиться. Молилась... Да, молилась вроде бы. И крестилась, и нагибалась до земли. Но как-то всё это было подозрительно и нехорошо. Что-то явно угрожающее слышалось в хриплом, булькающем её пении. Да и от самих могилочек жуть брала.

В конце концов мы не выдержали и побежали домой к Лорке. Спрашивать у тётки Дуся, что бы это такое означало. И там, прямо в дверях Лоркиной кухни, наткнулись на Котову. Она нас опередила. Большая, толстая, застряла в дверях. Не то что злая, но какая-то усталая.

– Слушай, – говорит, – Дуся. У тебя в ведре помойном что-то есть?

Тётка Дуся тут же стала оправдываться, приносиваться.

– Да вот я сейчас картошку домою, воду вылью с-под грязной посуды и пойду вынесу. Не хочется бегать лишней раз. А что, запах? Наверное, Лорка на ведро сходила. Я её сколько раз учила! «Пописаешь – скажи. Я сразу вынесу...»

– Да нет! – перебила Котова тётку Дусю. – Мне, наоборот, хорошо, чтоб там было побольше. А то я своё только что вынесла.

Она без всякой брезгливости сняла дощечку с тёткидусяного ведра, удовлетворённо изучила его содержимое, даже побултыхала немножко, так

что всплыли наверх и картофельные очистки, и бумажки, и какая-то зелень, и рыбья голова.

– Давай, давай ещё эту жирную воду сюда! – скомандовала Котова. И двинулась с ведром во двор. Так решительно, что даже нас чуть не облила по дороге.

Мы метнулись в сторону, отстали от неё, но успели всё-таки увидеть издали, как она подошла сзади к молящейся Груньке и прямо над её головой перевернула ведро. После чего спокойно, как ни в чем не бывало, пошла назад, нам навстречу. А Грунька булькнула ещё пару слов и замолчала. Несколько удивлённая, но не испуганная. Без гнева, не спеша, стала она обирать с себя, с головы своей, с плеч длинные картофельные очистки, рыбьи кости... Всё это Грунька складывала на левой ладони, вроде как для подсчёта. А когда горсть переполнилась, поднялась с колен и спокойно потопала куда-то за дом. Будто это самое обычное дело, когда тебе на голову выливают помойное ведро. Картофельные очистки висели у неё на плечах, как погоны в кинофильмах про царя.

– Видишь, – сказала Лорка, – какая она гадкая! А ты её защищала.

– Я не защищала!

– Ага! Не защищала... Но жалела! Думаешь, я не помню, как ты говорила: «Не надо! Не надо!» А она вот наколдовала что-то на Котовых!

– Ну и что теперь будет? – испугалась я.

– Не знаю, – как-то сразу успокоилась Лорка и пожала худеньким плечом. – Поумирают, наверное...

– Как! – ужаснулась я. – Все поумирают?!

– Наверно. А, может, кто-то один.

Мы с Лоркой пошли к угловой скамейке и сели ждать, что будет дальше.

У Котовых в тот день никто не умер. И вообще – долго ещё никто не умирал. Но и успокоиться, забыть про эти маленькие могилки как-то не удавалось. Я даже обходила то место, где когда-то стояла на коленях Грунька. Мне казалось, что земля там немножко другая, заразная. А Лорка не боялась. Лорка вообще ничего не боялась!

Я была так благодарна ей за то, что она со мной дружит! За то, что терпит все мои странности – странности уличного ребёнка. Никогда надо мной не смеётся. Ну, разве что посмотрит удивлённо и скажет: «Вот суматичка!»

Я не обижалась. Я вообще поддавалась Лорке во всех мелочах. Только в одном мы с ней не сходились. Я была вроде как за Груньку и против бабки Гуревички, а она, наоборот, за Гуревичку и против Груньки.

Но... Я-то Грунькой всё-таки... брезговала всегда, я бы ни за что не села с ней рядом, ни за что не прикоснулась бы к её лохмотьям. И уж точно не подошла бы к ней сама, по доброй воле, просто так, чтобы поговорить. Тем

более никогда не решилась бы спросить у неё: «Тётя Груня, почему вы такая грязная? Почему у вас такой грязный, шамкающий голос?»

А Лорка запросто подходит к Гуревичке и спрашивает: «Бабушка, почему вы так горбитесь?»

– У мене шпондилёз, – охотно откликается Гуревичка.

– А что это, бабушка?

– Это мне сильно болит спина.

– Надо пойти к доктору, – советует Лорка.

– Доктох мене не помогать. Ликахства мене ни помогать. Даже кохсет мене не помогать. Надо давать мой кохсет дети на металлылоб. Может, твой Коля взять кохсет на металлылоб?

– Бабушка, – перебивает Лорка со строгим достоинством, но без малейшего раздражения. – Надо говорить «металлолом», а не «металлылоб»!

Гуревичка кивает согласно, но при этом взмахивает рукой, с таким это обречённым безразличием. Дескать, «металлолом» или «металлылоб» – всё равно жить тяжело, а Бэлка – сволочь.

– А почему вы так плохо разговариваете, бабушка? – продолжает Лорка. – Потому что без зубов? Иногда же вообще нельзя понять, что вы говорите!

Гуревичка ёрзает, кряхтит.

– Я хогошо говохить на евгейского языка. Я писать на евгейского гхамотно. На евгейского я всё понимать. Я на гусского языка знать совсем мало, но я понимать хогошо. Моя говохить на евгейского, а твоя говохить на гусского. А на евгейского ты не говохить совсем и не понимать совсем.

Лорка задумывается и тут же, согласившись с правотой Гуревички, предлагает:

– Давайте, бабушка, сделаем так: я буду учить вас говорить правильно по-русски, а вы меня научите по-еврейски. Вот как будет по-еврейски... мама?

– Моме, – выдыхает сладкую помадку Гуревичка.

– А папа? Попе?

– Не-ет. Тотэ.

– Тотэ, – повторяет Лорка, будто пробует слово на вкус и находит его приемлемым.

И так они продолжали, продолжали... Мне казалось – целых три часа. Я и мячом цокала, нарочно громко, и вздыхала на весь двор. Лорка сидела рядом со старухой, такая заинтересованная, такая внимательная! И казалось, что для неё Гуревичка теперь и навсегда – самая главная на свете. А я – так, между прочим. Всё равно что Ирка или Верка.

И чем больше я злилась, тем больше любила Лорку, любила с какой-то униженной, восхищенной благодарностью. Именно за то, что Лорка не смеётся, не издевается над Гуревичкой, относится к ней, как к обычной, нормальной, русской старухе. Я-то думала, что Гуревичку нельзя, просто невозможно уважать! И больше того – из-за неё, вот такой занудной, противной, картавой нельзя уважать и меня, потому что я ведь тоже еврейка,

а, значит, и сама такая, ну хоть немножко. За то я и ненавидела Гуревичку, за то и злилась на маму, которая зазывает её и укладывает на мой диван – маленькую, горбатую, скорченную, громко, с противным акцентом стонущую на моём коврике, в моём солнечном квадратике. Злилась за то, что ажурная тень моей липы, как кружевное покрывало, лежит на её ножках, пугливо жмущихся друг к другу.

– Ты зачем вышла в коридор? – спрашивает мама. – Тут дышать нечем. Духовка включена и все конфорки. Иди в комнату.

– Не пойду, – бурчу я себе в грудь.

– Почему? – не понимает мама. – Что тебе тут делать?

– Не хочу туда. Там Гуревичка. Зачем ты её снова позвала?

– Какая ты злюка... – расстраивается мама. И снова заводит своё. О том, как у Гуревички в доме и темно, и сыро, и грибы. Пусть она хоть немножко погретая, полежит на солнышке. А в конце добавляет, как всегда: «Твою бабушку убили. А я так скучаю за ней! Мне приятно, когда в доме старушка. Я представляю себе, что это моя мама».

Господи! Да неужели моя бабушка была похожа на эту?! Быть такого не может!

«Майн бух, майн бух...» Тьфу! «Бэлкэ мне яд сыпать на кахтошка! Вчеха она мне сыпать яд на суп! Она мне хугать, что Алик не иметь свой постель!»

Ну да, конечно, Бэлка противная. У неё даже лицо похоже на отраву. Но мама не верит, что она нарочно сыплет яд в Гуревичкин суп. Мама считает, что у Гуревички живот болит из-за горба, что у неё все внутренности прижаты. И уж точно, если бы Бэлка пыталась отравить Гуревичку, то за то, что она невыносимо нудная, а не потому, что для Альки нужна Гуревичкина кровать. Где-то он ведь спит, Алька этот!

Однажды Гуревичка и Альку к нам притащила, чтобы он поиграл со мной. А он, во-первых, для меня маленький, во-вторых, голова у него квадратная, а в-третьих, на Бэлку ужасно похож. Такие же тоненькие губы, такие же тоненькие брови, а глаза жёлтые и круглые. Стоит возле шкафа, смотрит, как кружатся, мельтешат пылинки в солнечном луче – и ужасается: «Ой, сколько у вас мух! Сколько мух!» Не знает, дурачок, что это микробы! А мама снова ко мне придирается: «Какая ты чёрствая, какая ты безжалостная! Ну какая тебе разница – мухи, не мухи... Ты понимаешь, что этот мальчик впервые в жизни увидел солнечный луч?! Почему, когда Лора к тебе приходит, ты такая ласковая, такая добрая, отдаёшь ей все лучшие игрушки...»

Сравнила! Лорку – и Альку-головастика! Который, между прочим, бабки своей стыдится. Говорит ей: «Пошла ты!» Говорит ей: «Отстань!» Один раз он даже плюнул в неё!

А Лорка сидит с ней рядышком – спокойная, вежливая... Будто Гуревичка – обычный человек, как все. Выходит Гуревичка из своего подвала – и Лорка любую игру бросает, хоть лапту, хоть «дочки-матери».

Повторялось это мучение каждый день. «А как будет по-еврейски... яблоко?» «А как будет по-еврейски...»

Лорка однажды решила похвастать передо мной своими познаниями в еврейском языке, но я не стала слушать. Во-первых, ревновала, во-вторых, ничего не понимала. А главное – не переваривала я этот Гуревичкин язык. Язык, на котором мои родители шептались, когда хотели что-нибудь от меня скрыть. Поздно вечером шептались. Выключали свет и требовали, чтобы я уснула сию же минуту. А сами своей болтовнёй не давали мне уснуть.

Вот и в этот день, в этот страшный день, когда я испортила кусок мыла, когда папу из-за меня чуть не забрали на десять лет в тюрьму, они долго шептались по-еврейски, спорили о чём-то. Я-то думала, что всё уже обошлось, что раз милиция до сих пор не пришла за папой, то уже и не придёт. Но оказалось – ничего подобного. Ругать меня больше не ругали, но всё обсуждали что-то. А потом, когда думали, что я уже уснула, открыли диван и достали оттуда длинную медную штукювину. Завернули в старый ватник, и папа её куда-то унёс.

Я знала, что это такое. Этой штукой делались конфеты, карамельки, когда папа работал в подвале у «частника». Папа мне несколько раз объяснял, как они получаются, эти карамельки, но я так и не поняла. И вот родители, видимо, решили, будто я именно про карамельную машинку думаю, что папа на ней делает мыло. А вовсе не на той, не на чёрненькой, которая закатилась под диван. Теперь они испугались, что у нас будет обыск, и унесли карамельную машинку в сарай. А, может, к тётке Мусе или к тётке Ане.

Когда тётка Аня боится, что у неё устроят обыск, она приносит к нам рыжий портфельчик, и он несколько дней лежит у нас в диване под обувью. Если тётка Муся боится обыска, она приносит серую сумку. Но ведь машинка большая – куда длиннее портфеля и сумки... А вдруг тётка Муся или тётка Аня не согласятся её взять? Что тогда?

Я не сплю. Жду, когда папа вернётся. Возвращается он с пустыми руками, но спокойнее мне не становится. Настоящая-то мыльная машинка так и лежит под диваном! И если обыск к нам заявится, её найдут. Я не сплю почти до утра. Вот уже за окном проступают светлые, квадратные пятна. Хоть бы скорее настал день! Хоть бы скорее выйти на улицу, отыскать Ирку, просить её, умолять, чтобы не губила нас! Я готова отдать ей всё, что попросит.

Тянется, тянется время. Я не капризничаю, когда меня причёсывают, без капризов ем свою гречневую кашу. Но сердце так бухает в груди, что кашу никак не проглотить. Сердце выталкивает кашу назад. Выталкивает даже кружочек колбасы, даже солёный огурец. Ноги у меня не попадают на ступеньки. Солнце упирается в лицо.

Во дворе Ирки нет. Никого нет во дворе. Наверное, ещё слишком рано. И что же теперь делать? Звонить к Ирке домой? Нет – это уж слишком. Может, просто подождать у неё под дверью?

Я огибаю чёрный флигель и вижу Ирку. Она стоит наверху, как раз возле нашего сарая и что-то ловит на жёлтых цветах. То ли жучков, то ли бабочек. И никого рядом нет. Хоть в этом, хоть в этом, хоть в этом мне повезло! Скользя сандалиями по крутой вытоптанной дорожке, я добираюсь до Ирки и, задыхаясь и не узнавая собственного голоса, бормочу:

– Ирка! Пожалуйста, не рассказывай своему папе, что мой папа варит мыло!

Ирка смотрит на меня без удивления. Взвешивает...

– Хорошо, – говорит наконец. – Не скажу.

И продолжает ловить этих своих то ли бабочек, то ли жучков.

Лицо у неё широкое, плоское и... пятиугольное, как у Матвея. Чёлка белёсая. А панамка на ней та самая, широченная. Грунька первая во всём доме завела моду на панамки. Пришла с базара, остановилась среди двора, позвала Ирку, нахлобучила ей на голову эту позорную штуковину с широкими полями и объяснила оказавшейся рядом Талкиной маме, грязным, потресканным пальцем указывая на солнце: «Чтоб не напекло!»

Целый день все дети бегали по двору за Иркой и кричали ей: «рыбачка!», «рыбачка!» А на следующий день всем нам нацепили панамки. Противные! Ещё хуже, чем Иркина.

Вот этого я и боялась. Что Ирка вспомнит, как мы её дразнили, и отомстит. Я-то не дразнила, «рыбачкой» её не обзывала. Но бегала вместе с ними, со всеми, кто дразнил.

Боялась я очень долго. Всё лето. И потом ещё... Даже когда папа принёс домой и поставил на место карамельную машинку.

Немного легче стало после того, как Матвей бросил Груньку и ушёл жить к другой женщине, с профессией и с квартирой. Наши соседки его оправдывали. Лоркина мама всем так и говорила: «Правильно, правильно сделал! И так полжизни у мужика пропало! Пусть хоть теперь поживёт, как человек!»

Все жалели Матвея. А Груньку никто не пожалел, ни один человек. И детей Грунькиных тоже никто не пожалел.

Слушала, слушала я – и не понимала их, этих взрослых. Ну, Ромка, положим, сам уже почти дяденька, заканчивает институт, как-то обойдётся и без отца. Шурке всё равно, он в больнице находится больше, чем дома. Но Ирка... С Иркой-то что теперь будет?

Я представляла себе, как она сидит там, в Грунькиной комнате, смотрит на снег или на цветущую сирень. За окном темнеет, темнеет... Вот уже свет включили. Ирка ждёт, ждёт – сейчас он позвонит, её папа. У него ведь тоже, наверное, есть свой какой-то особенный звонок. А звонок не звенит, не

звенит, не звенит. Только Грунька сердитая ходит из коридора в комнату, из комнаты в коридор. Тупо бьют по полу босые пятки. Двери хлоп, хлоп... Уже и спать ложатся, а папы нет. Всё равно что на фронте погиб.

Правда, как раз Иркин папа на фронте и не был. Когда он ушёл к той, другой женщине, Грунька стала кричать об этом на весь двор и обзывать Матвея дезертиром. И всё про кровать повторяла, под которой его прятала от войны.

И вообще будто с цепи сорвалась! Про всех, про всех стала рассказывать разные гадкие тайны. Станет между домом и флигелем, там, куда выходит больше всего окон, и давай орать: «А ну, Надька, высунься, высунься в окно! Так что? Говоришь, что падла Матвей правильно бросил меня?! Бо я – пьяница, бо я – грязная! А ты сама какая? У тебя внуки в грязных трусах ходят! С дырками на пятках ходят! У тебя дочка – шлёндра поганая, Таську свою от немца от рыжего прижила! Матвея жалеешь? Матвея жалеешь? А ты зятя, зятя своего лучше пожалей, что твоя дочка его сифилисом наградила! Может, и ты сама уже черножопая? А ну, покажи! Ничего, ничего! Ты ещё увидишь, какая она вырастет, ваша Таська! Похуже матери будет. Вспомнишь мои слова!»

Ну, а дальше – как обычно. Про чернозём, про мусорник... Пиджак расстегнулся, платок с головы сполз, на затылке две косички торчат, как у ребёнка – тонюсенькие, бинтиком заплетённые...

Раньше соседи собирались слушать эти её скандалы, а тут стали разбегаться, прятаться. В ней и в самом деле появилось что-то новое, какая-то активная, наступательная злоба. К такой вот, как она стала, никогда не решилась бы я зайти в дом. Даже если бы порезала не один палец, а все десять.

Я и с Ирккой боялась встречаться. Боялась, что и она изменится, станет такая же злая. Но Ирка не изменилась. Разве что появилась у неё новая улыбочка. Ну... Будто есть у неё теперь тайна, о которой она не хочет рассказывать. Чтобы не завидовали.

И, пожалуй, это моё ощущение оказалось верным. Стали на Ирке появляться вещи получше, чем раньше. А однажды, когда мы рассказывали друг другу, какая у кого кукла... Нам тогда всем одновременно купили больших кукол. Куклы были дорогие, выносить их во двор не разрешали. Так что можно было и приврать слегка. Вот мы и ввали, кто как умел. Ирка слушала нас, слушала, а потом пошла домой и вынесла во двор коробку. Оказалось, что кукла у неё самая роскошная во дворе. Даже лучше, чем у Светы Митник, чем у Лёли Дефонже! Цыганка. С длинными кудрями, с золотым монистом, в широченной цветастой юбке. И главное – совершенно новенькая, без единой царапины! Мы только рты пооткрывали.

А потом мы получили квартиру, совсем недалеко. Я могла бы ходить в школу мимо старого дома. Но почему-то не хотелось. Неприятно было, что он больше не мой. Да и дела там происходили какие-то нехорошие.

О тамошних делах я узнавала от Лорки, с которой мы учились в одном классе. Таську посадили в детскую колонию. Грунькин Ромка со своими альпинистами разбился где-то на Кавказе, после чего Ирку забрали в детскую психушку. У Блиндершиной Клавки родился ребёнок с ножками задом наперёд. Я ужасно боялась увидеть этого ребёночка. Увидеть Клавку. Тем более Груньку.

Потом и Лорка получила новую квартиру. И я ничего уже не знала про старый дом – что там у них и как.

Много-много лет спустя я их встретила – Ирку и Груньку. Совершенно случайно, на другом конце города. И была рада, что встретила. Ирка выглядела очень даже неплохо и горячо обрадовалась мне, чего я никак не ожидала. Шумно восхитилась, узнав, что я стала художницей. «Я, между прочим, тоже художник! В своём роде, конечно...»

Оказалось, что она закончила то ли курсы, то ли школу, где учат украшать торты. Живо, со вкусом рассказывала Ирка о приёмах работы, о том, как девочки на конвейере стараются перещеголять друг друга. О том, что ей, Ирке, поручают оформлять особо важные заказы. Она свободно и толково пользовалась словами «композиция», «рельеф» – а я вспоминала, как позавидовала когда-то Ирке на её толстый альбом, на кисточку в банке. Я и тут позавидовала ей. Захотелось самой украшать торты.

Одета была Ирка опрятно. Да она и всегда опрятно выглядела. Но вот с Грунькой произошла прямо-таки невероятная перемена. На ней было аккуратное, хорошее пальто. Коричневое, с широким поясом. Чуть, правда, длинноватое. Приличные сапоги, очень нарядный платок – белый, пуховый. Всё новенькое, свежее. И сама Грунька выглядела лет на двадцать моложе, чем тогда, во дворе, среди бельевых верёвок. Лицо расправилось, стало длиннее. Почему-то расправились даже мелкие морщины, которых у неё в те, давние времена, было так много. Розоватая кожа выглядела какой-то... распаренной.

Теперь вот думаю: может, они и шли как раз из бани. Главное, Грунька не была пьяной. И, видимо, пьяной давно уже не бывала. Но чего-то в ней не стало. Не вызывала трезвая Грунька ни сочувствия, ни жалости. Лицо её, которое когда-то так и корчилось, так и мялось, менялось каждую секунду от переизбытка чувств – сделалось непроницаемо каменным. И выражало лишь одну эмоцию – недоброе безразличие ко всему миру. Ну и ко мне, разумеется. Впрочем, что-то такое она излучала... Едва уловимое нетерпение. Прямая, неподвижная – стояла Грунька и ждала, когда мы с Иркой закончим болтать.

Говорила Ирка интересно, складно, причём всё сообщала с какой-то одинаковой светлой улыбкой. Будто для неё, для Ирки, любые новости хороши. И то, что Таська убила топором своего свёкра. И то, что Света Митник вышла замуж за украинца, за очень хорошего парня, тоже скрипача. И то, что бедного Шурку в доме инвалидов психи забили насмерть. И что Нинка, двоюродная сестра её, допилась до цирроза. А Галка, младшая Килькина дочь, оправдала-таки надежды матери и выбилась в большие начальники.

О матери Ирка не говорила ничего, даже не оглядывалась на неё. Разве что чуть-чуть развернулась, чтобы не заслонять мне преображённую Груньку. Откровенно наблюдала за мной, за моей реакцией. И видно было, как она гордится и Грунькиным пальто, и пуховым её платком. Ирка просто-таки блаженствовала, видя моё удивление. Это было победное высокомерие автора, представляющего своё творение. Будто за спиной у неё стояла не Грунька, а самый главный Иркин торт, сделанный то ли для выставки, то ли по заказу какого-нибудь... министра.

Мы вспоминали какие-то мелочи, разные случаи из детства. Старый двор, «Фросину гору», лапту, «дочки-матери». Ирка очень оживилась, когда я заговорила о её кукле.

– Смотри-ка! А я совсем забыла о ней! Мам! – повернулась она к Груньке. – А ты помнишь – у меня кукла была, большая такая, цыганка?

Грунька ничего не ответила, но как-то... колыхнулась – причём неодобрительно.

– Ну вспомни! Папа подарил на день рождения!

Ирка явно начинала раздражаться, но как-то весело, добродушно.

– А её ты хоть помнишь? – кивнула она в мою сторону. – Мы в одном дворе жили. Галка в третьей квартире, а они во второй.

И тут Грунька... нет, она не ожила, а только открыла вдруг свой рот, переполненный огромными пластмассовыми зубами, грозящими выскочить на асфальт.

– А чего ж не помню... – пробурчала она. – Помню. С бантом всегда ходила, с кучерями. Умная была! Деньги во двор выносила. Дворник её спрашивает: «Откуда у тебя денежки?» А она говорит: «У меня мама в магазине работает. Если бы у вас мама в магазине работала – у вас тоже были бы денежки...» Родители её до дворника подлизывались...

Грунька так же внезапно захлопнула рот и снова замерла в полном безразличии.

Ирка поморщила переносицу. Видно, пыталась что-то вспомнить. Но безрезультатно.

Я тоже не поняла, что это такое насочиняла Грунька. Стала объяснять, что денег мне лет до двенадцати вообще не давали. У нас в доме считалось, что всё необходимое ребёнку покупают взрослые. Вдобавок брезгливая мама моя была уверена, что на деньгах так и кишит всякая дрянь: и туберкулёз, и дифтерия, и дизентерия...

Я видела, что Ирка на глазах теряет интерес к моему рассказу, не понимает, зачем я всё это говорю. Но, вместо того, чтобы замолчать, я лопотала и лопотала. О том, что и сама теперь после денег мою руки по десять раз. Что мама проработала в магазине меньше года, а уволилась ещё до моего рождения. И что об этом мелком эпизоде её биографии я узнала совсем недавно, когда помогала ей оформлять документы на пенсию.

Ирка вежливо улыбалась. Она явно искала, как бы уже закончить разговор и попрощаться.

Потом я шла по улице. Вниз по бульвару шла – и злилась на себя. И что это меня вдруг понесло? С чего я полезла к Ирке со своими сантиментами?

И эти дурацкие деньги... Откуда Грунька их взяла?

Господи, ведь я почти оправдывалась! После таких моих объяснений Ирка наверняка решила, что всё было – и деньги, и магазин...

Да... Очень всё это напоминало испуганные оправдания наших соседок – в те годы, когда мы с Ирккой бегали по двору в трусах и панамках. Про абажуры, про квартирантов, про крахмал... Но я-то, сейчас – чего испугалась? Зачем стала доказывать про деньги и всё такое?

Я шла под высокими тополями, от скамейки к скамейке. Почти с каждой что-нибудь было связано. Вот здесь мы сидели с няней. Здесь я упала с санок. Здесь меня облаяла страшная чёрная собака. Жёлтые неубранные листья так знакомо шуршали под ногами!

И всё я не могла успокоиться. Всё продолжала доказывать что-то Груньке. И себе.

Плюнуть бы и забыть. Но не получалось. Казалось бы: какая теперь разница? Ну, сочинила Грунька сказку про богатых соседей...

И вдруг меня осенило. Я даже остановилась и захохотала – громко, на всю улицу, так что две женщины, катившие коляски, испуганно оглянулись.

Чёрная машинка! Вот что это было! Это оно, мыло моё, превратилось в денежку. А какая-то непонятная машинка – в понятный каждому магазин.

Как же я сразу не догадалась? Я ведь всю жизнь рассказывала эту историю, веселила народ. Прямо такой эстрадный номер был. Как мама лупила меня и ругала шёпотом. Как папа унёс из дому «карамельный» станочек. Как целый год я тряслась, умирала от страха.

А выходит – правильно умирала. Кто-то ведь прислушался, обсуждал... Мог и заявить, куда надо, про мыло. А те таинственные, те, кого так боялась мама, раскопали бы артельщика, к которому папа ходил по ночам делать конфеты. Или ещё чего-нибудь раскопали. Уж они нашли бы.

От кого же узнала об этом Грунька, с которой во дворе никто не разговаривал? Неужели от Ирки? Нет, нет, конечно. Ирки ведь не было тогда во дворе. Не видела она, как я стираю платочек в своём корыте. Как набросились на меня Талкина мама, Талкина бабушка, Лёвкина жена, тётя Дуся. Как я оправдывалась. Как Блиндерша за локоть потащила меня домой.

Ну что Ирка должна была запомнить? Я просто ни с того ни с сего подошла к ней и попросила не рассказывать отцу о том, что мой папа варит мыло...

И при чём тут дворник? Откуда Грунька взяла дворника? Впрочем... Может, как раз от дворника она и услышала всё это? Но ведь и дворника не было во дворе, уж это я точно помню!

Получается, кто-то ему доложил. А уж он «отредактировал», как умел.

Кто же доложил? Талкина мама? Талкина бабушка? Лёвкина жена? Тётя Дуся? Блиндерша?

2015